Антитеррористический дискурс: обусловленность характером общества

В.И. Долгий

В статье представлен ретроспективный анализ предпосылок формирования антитеррористического дискурса, его проявлений в условиях социальной динамики, раскрывается значение дискурсивного подхода в процессе изучения терроризма.

Когда речь заходит, как и почему возникают очаги террористической активности, начинается, как правило, поиск причин социально-экономического и политического характера, то есть неких объективных предпосылок. В обязательном порядке рассматривается фактор социальной депривации – бедности и безработицы населения, в особенности молодежи, из которой в основном и вербуются контингент боевиков-исполнителей терактов. В минувшее десятилетие, и прежде всего непосредственно после взрывов, произошедших в США 11 сентября 2001 г., в этом было принято видеть едва ли не первооснову появления вооруженных экстремистских движений. Презюмировалось, что состояние общего социального неблагополучия первично, что именно оно предопределяет появление террористической угрозы. Другие особенности той или иной социальной среды, ее этнические, культурные, религиозные черты, ее место в процессах глобализации, считались также важными, но тем не менее вторичными, частными.

Смысл дискурса. Вместе с тем не все так просто: линейные казуальности перестают работать в условиях усложняющейся социо-культурной динамики. По мере реализации одобренной ООН Глобальной контртеррористической стратегии накопился определенный практический опыт, который во многом переосмысливает понимание природы терроризма. Выяснилось, что нет прямой корреляции между социальной деривацией и терроризмом. В мире существует множество небла-

гополучных стран с крайне низким прожиточным уровнем, в которых тем не менее террористические организации не приживаются. При этом в ряде экономически развитых государств уровень активности нелегальных боевых группировок бывает достаточно высоким.

Точно так же нет прямой корреляции между этническими, религиозными факторами и терроризмом. В частности, на западе Африки пока нет оснований для серьезной обеспокоенности по поводу положения дел в мусульманском Сенегале, в то время как в нефтеносной Нигерии (Дельта Нигера), одной из ведущих стран континента со значительным процентом неисламского населения, нередки случаи захвата заложников группировками «Движение за освобождение Дельты Нигера» и «Движение за выживание народа огони», усилиями которых в субрегионе поддерживаются сепаратистские настроения.

В результате при определении предпосылок терроризма больше внимания стали обращать на совокупности факторов, и особенно на дискурс. Под последним М. Фуко понимал общность социальных практик, систематически формирующих те объекты, о которых они говорят¹. Соответственно анализ предпосылок терроризма сосредоточился не на прослеживании (как правило, безуспешном) причинно-следственной связи между бедностью и терактами, а на дискурсе, который, подчеркнем, есть не только слово, но и социальные практики.

По ним можно судить о степени дееспособности органов власти и подчиненных им

специальных служб, обоснованно полагая, что функциональные государственные институты – существенное препятствие на пути распространения терроризма. В контексте анализа дискурса мобильности были сделаны выводы о роли и значении миграционных потоков, как фактора возрастающей мобильности экстремистских объединений. Одновременно зависимость терроризации от источников стабильного финансирования заставила увидеть в ином свете проблемы, связанные с организованной преступной деятельностью: уход от налогов, отмывание денег, получение доходов от наркобизнеса и торговли людьми. Все эти и другие практики формировали антитеррористический дискурс.

За истекшие два десятилетия антитеррористический дискурс существенно изменился. Наметился переход от поиска некоей общей стержневой характеристики этого явления к составлению перечня факторов, которые могут способствовать или препятствовать терроризму. По большому счету, начал формироваться качественно иной дискурс о терроризме. Отнюдь не случайно с 1980-х гг. до начала 2000-х гг. мировая общественность ставит вопрос о том, как следует понимать суть этого явления, на основании чего можно дать ему моральную и юридическую оценку. В документах ООН, относящихся к этому периоду, по большей части говорится о необходимости поиска общего критерия определения терроризма и создании унифицированной международно-правовой базы, так как «только принятие такого критерия позволило бы создать механизмы, способствующие ликвидации терроризма»².

Но уже в 2006 г. дискурс существенно корректируется: во главу угла ставится иной принцип – действия против терроризма. Положения доклада «Единство в борьбе с терроризмом: рекомендации по глобальной контртеррористической стратегии», представленного К. Аннаном, на тот период Генеральным секретарем ООН, посвящены уже совершенно другому аспекту: пресечению условий, необходимых для ведения террористической деятельности. «Мы должны, – призвал он, – укреплять тезис о непростительности и неприемлемости терроризма, предпринимая при этом усилия по устранению условий, которые террористы эксплуатируют. Мы знаем, что иссякающая поддержка со стороны слоев, на которые опирались террористические группы, вынудила некоторых из них свернуть свою деятельность. Поэтому нам нужно вбить клин между террористами и теми, кто оказывает им непосредственную поддержку. Мы должны не допускать того, чтобы умеренные превращались в воинствующих экстремистов, а воинствующие экстремисты становились террористами»³. Предлагается лишить террористов финансовой поддержки, а также доступа к оружию, включая ОМУ, к объектам вербовки и средствам связи, а также к средствам передвижения. Ставится конечная цель лишить террористов доступа к объектам нападения и оказания желаемого воздействия⁴.

На первый взгляд такое смещение приоритетов в антитеррористическом дискурсе, казалось бы, имеет свое объяснение:

– во-первых, в конце 1990-х – начале 2000-х гг. было принято значительное число антитеррористических конвенций и законодательных актов как на международном, так и на внутригосударственном уровне;

– во-вторых, к началу 2000-х гг. попытки определить терроризм через общее понятие, о необходимости чего было сказано в упомянутой ранее резолюции ООН, практически исчерпали себя. Они стали просто неактуальными, в связи с тем что, используя слова У. Бека, терроризм из национального стал приобретать «транснациональный, глобальный характер»⁵. Стало ясно, что наступил новый этап в борьбе с террором. На первый план вышли планирование и осуществление реального и эффективного противодействия этому всемирному злу.

Однако, как представляется, само по себе вызревание нового антитеррористического дискурса – это не просто результат перегруппировки сил и средств в международной правоохранительной практике. Дискурсивные отношения, как известно, являются индикатором, причем качественным индикатором, состояния общества в целом. В них отражается распределение социальных иерархий, характер коммуникаций между индивидами, а также направленность стратегии власти, которая позволяет поддерживать баланс общественных интересов. Если рассматривать вопрос об изменениях в международной практике борьбы с терроризмом в свете дискурсивных отношений, то мы имеем дело не просто с корректировкой формулировок или с конкретизацией целей. Мы имеем дело с гораздо более глубоким процессом – со смещением артикуляций общественного сознания, выраженных в вербальной форме. Как представляется, наметившееся изменение антитеррористического дискурса означает, что меняется само общество, становится иным восприятие проблем терроризма, наконец, сам характер терроризма становится другим.

Дискурсивный метод как необходимая составляющая комплексного подхода к изучению терроризма. Наметившееся изменение антитеррористического дискурса заставляет обратить внимание на одно немаловажное обстоятельство. Этот дискурс всегда опирался на корпус научного знания. Внешне в нем преобладают политические, правовые и этические нарративы, однако их валидность в обязательном порядке обеспечивается авторитетом исследовательских экспертных оценок, задействованным теоретико-методологическим инструментарием.

Принятие антитеррористических законов, конвенций, деклараций, – словом, длительный и скачкообразный процесс юридической кодификации этой проблемы всегда сопровождался столь же длительным и столь же скачкообразным процессом ее концептуализации. Чтобы понять, в какую сторону делает поворот антитеррористический дискурс, необходимо проанализировать те воз-

возможности и ограничения, которые несет в себе научное знание об этом явлении. В силу этого имело бы смысл отметить следующие обстоятельства.

Многочисленные попытки выстроить теорию, которая могла бы представить хотя бы относительно полное истолкование терроризма, не принесли ожидавшегося результата. «Концепт терроризма породил такое множество мнений, что интеллектуальный дискурс о нем часто становится предметом сомнений. В результате затруднительно добиться научно обоснованного объяснения терроризма...»⁶.

В целом изучение терроризма позволило открыть его с несколько неожиданной стороны: в отличие от множества других сторон жизни общества к нему не применим столь любимый социологами-практиками методологический инструментариум объективистского толка. Обобщение эмпирических данных, их последующая интерпретация, попытки рассчитать некоторые тенденции – всего этого оказалось недостаточно, чтобы в данном случае составить валидное представление об интересующем явлении. Исследователи начали сходить в мнении, что «при всех преимуществах функционалистского подхода (он облегчал применение, например, математических методов исследования при обработке массового материала) ныне очевидно, что, несмотря на отсутствие явного кризиса, он потерпел крах. Связано это с тем, что в рамках функциональной парадигмы, объединяющей все основные направления европейской... мысли (позитивизм, марксизм и французский структурализм), не учитывалось наличие у субъектов истории – людей – свободы выбора, обусловленной наличием воображения. Само же общество перед лицом новых вызовов и форм кризиса оказалось охваченным сомнениями относительно самих притязаний на глобальное понимание социального»⁷.

В равной мере малоэффективными оказались попытки исправить положение с помощью феноменологического подхода – определить, но не как конкретную деструктивную практику, а как феномен, через общий смысл. Определенно теоретико-методологические затруднения такого рода повлияли на общее состояние научного антитеррористического дискурса. Как отмечалось ранее, он стал в большей степени сосредоточен на внешних факторах, на том, что составляет окружение террористических организаций, в нем обозначилась своего рода фрагментарность.

Вместе с тем, по всей видимости, для того чтобы разобратся, чем вызвано такое состояние антитеррористического дискурса и каковы пути его возможного развития, требуется ретроспективный анализ тех дискурсивных отношений, из которых он ныне складывается, проследить в динамике возникновение этих отношений. На наш взгляд, здесь прослеживается три этапа, за которыми стоят три основных разновидности дискурсов, повествующих о развитии терроризма.

Терроризм в дискурсах традиционного общества. В экспертных сообществах преобладает,

как правило, точка зрения, согласно которой началом летоисчисления террора является Великая французская революция. Именно в этот период появляются дискурсы, повествующие об этом явлении, дающие ему имя. Предполагается, что террористами начали называть себя революционеры-якобинцы, начавшие в 1793 г. кампанию репрессий против своих политических противников. Затем примерно с 1879 г. этим именем пользуются революционеры-народники в России, участники организаций «Свобода или смерть», «Народная воля», «Черный передел». Если рассматривать эти даты исключительно с точки зрения хронологии, то и во Франции, и в России наступление терроризма связывается с таким переломным моментом как вытеснение устоев традиционного общества ритмами жизни индустриального модерна.

Однако затяжные и не всегда результативные дискуссии вокруг определения терроризма привели к тому, что все большее число исследователей стали полагать, что такая временная граница весьма условна и может быть перенесена на более ранний период. Их мнения, как правило, созвучны точке зрения У. Лакера, говорившего о временах, когда «террористы... не знали, что они террористы, как мольеровский Журден не знал, что он говорит прозой»⁸.

Имеется в виду, что прецеденты террористической деятельности прослеживаются и ранее в истории воинствующих древних сект, таких, как сексарии в Иерусалиме, ассасины на Аламуте. Нередки ссылки на периоды правления в Древнем Риме Мария, Суллы или династии Юлиев-Клавдиев, как задолго предшествующие якобинству. Есть на этот счет и еще более оригинальные взгляды, согласно которым: «Более 2,5 тыс. лет назад согласно Ветхому Завету (кн. Исход 5–12), на территории Египта в течение почти 3 месяцев было осуществлено десять террористических акций, вошедших в историю как «Казни египетские». В них были применены биологические, экологические, химические и другие средства массового поражения»⁹.

С позиций объективистского подхода подобные заявления могут быть правомерны, так как деятельность ряда древних правителей и религиозных сект имеет материальные черты, связанные со смыслом «терроризм». Однако дискурсивные отношения, в рамках которых осуществляется эта деятельность, в этом случае принципиально другие. Предшествующие обществам модерна цивилизации образуются вокруг иной ценностной иерархии, предполагающей иное понимание целей общества и государства и назначения человеческой жизни. Ими движут другие дискурсы власти, сложившиеся в другой эпистеме, где преобладает другое социальное измерение времени.

Дискурсы античности дают такое истолкование институтов политического господства, что возражением им может быть лишь субъективный эмоциональный протест. «Град солнца, о котором мечтал Спартак, – констатирует А. Камю, – можно было бы создать лишь на руинах Вечного Рима, разрушив его установления и низвергнув

его богов ... Однако в решающий момент, в виду священных стен, войско рабов останавливается и начинает откатываться назад, словно отступая перед принципами богов, их установлениями, их городом. Что можно поставить взамен разрушенного Рима? Разве что неистовую жажду справедливости и оскорбленную, а потому яростную любовь к свободе...»¹⁰.

И все же, если строго следовать позиции объективистского подхода, то в античную эпоху, а именно в Древнем Риме, действительно впервые появляются практики политически мотивированного насилия, тот тип действия, который несет в себе прообраз современного терроризма. Здесь можно обнаружить сочетание методов массового устрашения, борьбы за власть, воздействия на общественное мнение, пренебрежение нормой. Повествования об этом сохранились еще с доимперского периода в летописях, сообщающих о тирании Марио и Суллы, а затем в эпоху периода правления династии Юлиев-Клавдиев.

Однако, как свидетельствуют эти документы, римляне не осознают происходящее как нечто, наделенное особым социально-политическим смыслом. Террор для них еще не существует «в рамках концепции единого мира, разные сегменты которой несут свою долю ответственности за это зло»¹¹. В противоположность мироощущению модерна не наблюдается той обеспокоенности, которая выражает себя через политические, юридические и научные дискурсы, повествующие о терроре как о преступлении. Скорее напротив, – таковой воспринимается как способ укрепления общественного порядка, а не попытка его подорвать.

То, что сегодня ассоциируется с прецедентами государственного террора, имеет в античности свое специфическое прочтение. Таковой дополняет список ниспосланных свыше несчастий, среди которых числятся проигранные войны, природные катаклизмы, эпидемии и пр. То есть нечто временное, приходящее и уходящее, лишенное собственного смысла вне рамок данной конкретной ситуации. Как свидетельствуют исторические источники, умонастроения римлян далеки даже от подозрений, что в знакомых им прецедентах терроризма может быть какая-то подлежащая объяснению закономерность или что это – подсудное деяние. Иначе едва ли бы возможна ситуация, когда «один из молодых людей, Гай Метелл, отважился спросить в сенате у Суллы, чем закончится это бедствие (имеется в виду составление римским правителем проскрипций – списков граждан, обреченных на казнь. – В.Д.) и как далеко оно должно зайти...»¹².

Поскольку отношение к этой угрозе сопоставимо с отношением к стихийному бедствию, оно не вызывает дериваций и мутаций в дискурсах власти – прежде всего, не накладывает на институты правления и господствующие классы каких-либо юридических обязательств. В римском праве, тем более в законах Солона, в отличие от международного и национальных законодательств начала 2000-х гг., нет упоминаний ни об особом типе

общественной опасности, ни о специфических преступлениях, которые можно было бы сопоставить с терроризмом в современном его понимании. «Институции» Гая, «Кодекс» Юстиниана и другие юридические уложения того времени являют собой кодификации совершенно иного порядка.

Соответственно практика террора получает несколько иную этическую оценку. В Древнем Риме, например, захват заложников – не просто обычная, но в немалой степени позитивная практика политических отношений, с ее помощью обеспечивается внутренняя и внешняя стабильность, сдерживаются войны и восстания. Для античности немыслимы предписания о том, что «любое лицо, которое захватывает или удерживает другое лицо и угрожает убить, нанести повреждение или продолжать удерживать другое лицо ... для того, чтобы заставить третью сторону... совершить или воздержаться от совершения условия акта в качестве прямого или косвенного условия для освобождения заложника, совершает преступление ...»¹³, как это понимается сегодня.

В дискурсах Средневековья также нет места осознанию проблемы терроризма, однако в силу иных обстоятельств. В этот период в Европе христианское вероучение окончательно становится частью институтов отправления власти. Религия, являвшаяся ранее сектантской, диссидентской и гонимой превращается в дееспособную идеологию правящих классов. Вследствие этого в дискурсах власти появляется такая духовная максима, как отстраненность от наличного бытия, отчужденность «от мира сего». Нормы общественной жизни, взятые на вооружение правящим меньшинством из трудов Августина Аврелия, Фомы Аквинского и других схоластов, предают проблеме насилия, и в особенности политического насилия, этический сакральный характер. Если власть в эру модерна запрещает оказывать ей физическое сопротивление, ссылаясь на юридические положения, которые являются результатом общественного договора, то средневековая монархия считается освященной свыше. Преступление против гражданского общества – преступление против людей, преступление против короны – преступление против Бога. В эпоху Средневековья это в полной мере касается не только христианства, но и исламского мира, и других традиционных обществ.

Так, дискурс власти Средневековья накладывал запрет на то, что в наши дни определяется как «терроризм». Одновременно он разъяснял, как следует реагировать на политически мотивированное насилие. Любой произвол и беззаконие предписывал воспринимать как испытание или череду испытаний, высшим проявлением которых признается мученическая смерть. Отсюда складывается отношение к насилию как к тому, сталкиваясь с чем, индивид получает возможность не столько подвергнуться унижению, сколько подняться на более высокую духовную ступень. Формировались дискурсы богоугодного самопожертвования, лишавшие терроризм его

конечной цели, – мученическая смерть признается победой жертвы и поражением палача.

Поэтому попытки современных авторов связать с понятием «террор» католическую инквизицию или правление таких монархов, как Иван IV Грозный, идут вразрез с характером дискурсивных отношений той эпохи. Определение этих реалий как «терроризма» лишает их своего изначального социального смысла.

Терроризм в дискурсах индустриального модерна. Дискурсы, повествующие о терроризме, а также санкционирующие определенный тип знаний о нем, появляются по мере становления обществ индустриального модерна. Темы этих дискурсов формируются под влиянием характерных черт этой эпохи, к которым относится: линейное восприятие времени, возрастание роли символических знаковых систем, индивидуализация, а также секуляризация сознания. Происходит это, когда «человеческая природа, некогда считавшаяся прочным и неизменным результатом божественного творения, была брошена вместе со всеми прочими божественными творениями в плавильный тигель. Ничто уже не рассматривалось и не могло рассматриваться как данность. Напротив, каждая сторона жизни стала задачей, причем такой, которая не оставляла человеку иного выбора, кроме как взяться за ее решение, прилагая для этого все свои способности. «Предназначенность» сменилась «житейскими планами», судьба – призванием, а «природа человека», в какой-то он был рожден, – «идентичностью», за которой нужно следить и которую нужно поддерживать в соответствующей форме»¹⁴.

Весьма важную с точки зрения формирования террористических дискурсов черту модерна раскрывает социология знания К. Мангейма. По его мнению, это – «сознание, которое не находится в соответствии с окружающим его «бытием». Это несоответствие проявляется всегда в том, что подобное сознание в переживании, мышлении и деятельности ориентируется на факторы, которые реально не содержатся в этом «бытии». ... «Трансцендентную по отношению к действительности» ориентацию, которая, переходя в действие, частично или полностью взрывает существующий в данный момент порядок вещей»¹⁵.

Мангейм выделяет четыре основных типа утопии. Фактически он говорит о том, что в эру индустриального модерна составляет существо некоторых идеологических дискурсов, оправдывающих терроризм, в противовес чему впоследствии появляется антитеррористический дискурс. Прежде всего, это хилиастические утопии. В какой-то мере в силу наличия в них религиозного начала они имеют частичное сходство с исламскими проектами всемирного джихада. Другим видом утопии является либерально-демократическая. В отличие от хилиастического дискурса, делающего ставку на иррациональную религиозность, она ориентирована на формальную рациональность и светскую нормативность, что, однако, не исключает конфликт с действительностью иного рода.

Формально либерально-демократическая утопия не оправдывает применение силы, как правило, в ее границах появляются дискурсы, критикующие терроризм. Но вместе с тем «нормативно-либеральное сознание ... презирует как дурную действительность все то, что завершило свое историческое становление, и все настоящее... здесь полное осуществление идеала перемещается в далекое будущее и возникает в недрах того, чье становление происходит здесь и теперь, в повседневном, тогда как хилиаст связывал его с находящимся вне истории экстатическим переживанием»¹⁶. Тем самым дискурс либерально-демократической утопии, несмотря на свою внешнюю бесконфликтность, является своего рода катализатором всех других утопий обществ индустриального модерна. Он постоянно бросает им вызов в несостоятельности, а достигая положения господствующей идеологии, невольно подстрекает к жестким видам протеста, включая терроризм.

В свою очередь, консервативное сознание, знаменующее собой третий вид утопии, является полной противоположностью либерально-демократическому. В идеале оно воспринимает жизнь такой, какой она есть. «Консервативное сознание, подстрекаемое и возбуждаемое оппозиционными теориями, лишь с запозданием обнаруживает свою идею. И в то время, как все прогрессивные группы воспринимают идею как нечто предшествующее событиям, для консервативно настроенного Гегеля идея исторической действительности не случайно становится зримой лишь тогда, когда мир уже обрел свою законченную форму»¹⁷. Этим дискурсом часто движимы террористические группировки националистического и ультраправого типа.

Наконец, социалистическо-коммунистические утопии, которые появляются позже остальных. Не ставя себе такой цели, К. Мангейм тем не менее отмечает их родственную основу с либерализмом, определяя их как радикальное выражение заложенных в нем тенденций. Одновременно он указывает, что этот тип сознания реализует себя, преимущественно взаимодействуя с остальными типами утопии. «... Утопический элемент выступает в социализме в образе двуликого Януса. В нем находит свое выражение некое сбалансирование, но вместе с тем и созидание, основанное на внутреннем синтезе различных форм утопий, которые возникли до него и боролись в социальной сфере»¹⁸. На этом принципе выстраиваются дискурсивные практики террористических движений леворадикального толка.

Таким образом, в эру индустриального модерна складывается четыре разновидности дискурсивных практик, четыре способа не соглашаться с действительностью, на противодействии которым и будет впоследствии выстраиваться анти-террористический дискурс. Поскольку он в целом противопоставляет себя социальной утопии, его критический пафос образуют черты, которые позволяют дистанцироваться от утопического сознания, идеологической ангажированности. Это – ставка на точность и беспристрастность опи-

сания (объективистский подход, подкрепленный эмпирическими методами), это – нацеленность на слияние с социальной нормой (процесс юридических кодификаций), это – право говорить от имени легитимной власти.

Вместе с тем, по мере того как эпоха индустриального модерна исчерпывает себя, ситуация претерпевает изменения.

Специфика антитеррористического дискурса в обществах радикального модерна. Своеобразный антитеррористический дискурс формируется с наступлением эры радикального модерна. С утверждением постиндустриальных обществ, глобальных социальных сетей ситуация в мире претерпевает радикальные изменения. Происходит дисперсия жизненных миров индивидов, набирает динамику процесс перекодирования реальности, в частности перекодирования травматических событий. Существование категории «зла», ассоциируемого в том числе с терроризмом, все больше воспринимается как «атрибутивное конструирование, как продукт культуральной и социологической работы»¹⁹.

Это проявляется в эффекте, который Дж. Александр вслед за К. Томпсоном называет *спиралью означения*. В обществах рефлексивного модерна такие события, как террористические акты, многократно кодируются и перекодировываются. На начальном этапе они воспринимаются как информационное сообщение, рассказ. Однако повествование о них достаточно динамично формирует убежденность в нанесенной обществу травме, в неоправданном страдании. Далее травма интерпретируется политическими, научными, религиозными деятелями и другими лидерами общественного мнения. В результате происходит кодирование зла, которое должно быть «выражено через нарратив, помещено в каждую социальную сферу – в интимную сферу семьи, в мир науки, религию, экономику, управление»²⁰. Так формируется антитеррористический дискурс, который необходим для обобщения и осмысления имеющегося опыта противостояния террору.

Еще одной чертой радикального модерна, повлиявшей на состояние антитеррористического дискурса, является прогрессирующая открытость обществ, их космополитизация. У. Бек полагает, что в этих условиях терроризм становится одним из глобальных рисков, единой наднациональной угрозой. Открытость обществ, их сетевой характер, неизбежно предполагает не только позитивное взаимопроникновение культур, но и их столкновение, непредвиденные конфликты, вмешательство в жизненные миры отдельных индивидов и социальных групп, что может спровоцировать радикальные формы протеста, включая терроризм.

Происходящая космополитизация обществ требует смены теоретико-методологического инструментария его изучения. Согласно Беку, необходимо обратиться к *методологическому космополитизму*, который должен прийти на смену методологическому национализму – теориям, анализировавшим социум с позиций отдельных

наций-государств. Социология, убежден он, и в особенности социология индустриального модерна, структурировалась в рамках обществ, локализованных границами конкретных стран. Критика К. Марксом капиталистического строя изначально выстраивается на обобщении опыта британского капитализма. Созданная М. Вебером теория рациональной бюрократии во многом получила импульс в процессе изучения особенностей прусской государственности. В свою очередь, «Милс критиковал не просто американское общество, но современное общество как таковое»²¹.

Соответственно, чтобы сегодня изучать природу и направленность глобальных угроз и рисков, к числу которых относится терроризм, следует, как считает немецкий социолог, рассматривать их не в узком контексте внутригосударственных или даже межгосударственных отношений. Требуется определить их место в широком поле глобальных взаимосвязей.

В целом методологический космополитизм предполагает следование пяти принципам, которые дополняют друг друга. Во-первых, это принцип переживания кризисного состояния социума во всем мире, который базируется на осведомленности о всеобщей взаимозависимости. Идея единства человеческой цивилизации уже не является некоторой абстракцией, но диктуется неизбежными для всех глобальными рисками и кризисами, которые не могут сдерживать ни государственные границы, ни международные консенсусы. В свете этого принципа терроризм уже не является проблемой той или иной страны либо коалиции, а борьба с ним невозможна без координации усилий. Однако параллельно происходит и консолидация террористических группировок, которые сорганизованы в мобильные глобальные сети.

Таким образом, меняются объекты антитеррористического дискурса. Так, в эру индустриального модерна к их числу относятся автономные боевые группировки, действующие против органов власти в границах отдельных государств. Организованные народовольцами покушения направлены на подрыв *русского* монархизма, взрывы Ирландской республиканской армии – на нанесение ущерба *британскому* империализму, а баскская ЭТА воюет против *испанского* господства и т.п. В этот, предшествующий космополитизации, период нередко дискуссии о том, каков критерий отличия террористических организаций от национально-освободительных и революционных движений. Дебаты ведутся вокруг того, кто в этом противоборстве представляет силы гуманизма и прогресса, а кто олицетворяет угрозу миру и стабильности.

В условиях же радикального модерна эта проблема постепенно теряет актуальность, она озвучивается скорее как отголосок старых разногласий, нежели как реакция на вызовы реальности. В антитеррористическом дискурсе все больше говорится об общей для всех угрозе, о необходимости ведения превентивных войн ради подавления потенциальных очагов террористической активности.

Второй принцип, выдвинутый Бекон, – признание космополитических различий. В условиях космополитизации не следует ожидать скорого формирования некоего единого социального, политического и культурного пространства, или универсальной нормативности. То есть формирование это, конечно же, происходит, но не плавно и поступательно, а на фоне соприкосновения несхожих, часто не готовых к контакту друг с другом социальных акторов, из-за чего накапливается значительный потенциал конфликтности как в отдельных обществах, так и на планете в целом. Появляется, в частности, то, что Бек называет *латентным национализмом* или *интровертивным национализмом*, представляющим собой сочетание космополитического образа жизни с неприятием представителей других этнических и культурных сообществ.

Отсюда растущее число полюсов напряженности, в которых могут вызревать предпосылки террористического дискурса. Обратной стороной этого процесса являются истолкования, которые дает антитеррористический дискурс, казалось бы, второстепенным с точки зрения практической политики вопросам – взаимной терпимости и соблюдению прав человека. Ни в традиционных обществах, ни в обществах индустриального модерна не уделяется столько внимания заботе об индивидуальности, защите права на частную жизнь, на свободу выбора в самом широком смысле. Если следовать логике Бека, эту привилегию человек эры радикального модерна заслужил тем, что постоянно находится в прямом или опосредованном соседстве с потенциальными террористами.

Третий принцип – космополитическое сопереживание. Индивиды больше не ограничены реалиями своего непосредственного окружения. Во многом благодаря развитию телекоммуникационных сетей происходящее в мире становится частью их повседневной жизни. Жизненные миры отдельных людей оказались открыты для информации о терактах или о войнах против террора, имеющих место в отдаленных от них уголках планеты. Террористический смысл – и в этом Бек созвучен Александру – проникает не просто в их сознание, но и в эмоциональную сферу, в границы их повседневности, становится частью текущих рутинных практик. Информационная открытость стала фактором формирования политических симпатий и антипатий, которые в условиях космополитизации неизбежно интегрируются в сложные системы коммуникаций международных отношений, в конечном счете – в антитеррористический дискурс.

Четвертый принцип – стремление принудительно вернуть существовавшие ранее культурные рубежи и преграды, отгородиться от давления западных ценностей. Это одна из наиболее характерных особенностей терроризма радикального модерна. В индустриальную эру террор, как правило, является революционным, видит свои цели в том, чтобы расчистить путь для будущего, преодолеть архаичные устои. Глобализация и космополитиза-

ция вывертывают эту тенденцию наизнанку: с их приходом вооруженные экстремистские движения всегда настроены ретроградно. В их дискурсах всегда присутствует уничижительная критика постоянно обновляющейся реальности, будь то в виде националистического консерватизма, или религиозного фундаментализма, или их сочетания.

Пятый принцип – смешение, проявляет себя в том, что «локальные, государственные, этнические, религиозные и космополитические культуры и традиции проникают друг в друга. Устанавливают друг с другом связи, смешиваются – космополитизм без провинциализма пуст, провинциализм без космополитизма слеп»²².

Необходимо также учитывать, что антитеррористический дискурс радикального модерна формируется в условиях становления новой системы глобальной безопасности. Нивелируется понятие классической конвенционной войны. Вооруженные конфликты современности не имеют четких временных и пространственных границ, как не имеют более однозначного толкования такие смыслообразующие элементы политического дискурса, как война и мир, гражданское и военное, союзник и противник. Война приобретает превентивный характер. Она становится не столько реакцией одного или нескольких государств на уже назревший конфликт, а мерой по предотвращению самого появления противоречий и острых разногласий. Поэтому антитеррористический дискурс не столько санкционирует подавление уже существующих вооруженных экстремистских организаций, сколько диктует необходимость уничтожения среды их существования.

Вместе с тем все сильные стороны антитеррористического дискурса не снимают одной важной проблемы. Он по-прежнему не имеет четких и прозрачных критериев определения террористической угрозы. Не вполне ясно, на каких концептуальных основаниях Ирак и Ливия являются странами более проблемными в террористическом плане, чем Саудовская Аравия и Пакистан. Этот дискурс еще не получил достаточную подпитку от теоретико-методологического инструментария, отвечающего космополитическим реалиям современного мира. Появившись как реакция на вызовы, исходившие от терроризма индустриальной эпохи, закрепившись затем в сознании общества под влиянием феномена спирали означения, он не в полной мере поспевает за реалиями сегодняшнего дня.

Отсюда зачастую обращение ученых к частностью, к внешним факторам проявления терроризма, вне единого, комплексного видения проблемы. Представляется, что одной из возможностей преодолеть это затруднение могло бы стать применение предложенных Бекон принципов²³. Немецкий социолог считает, что «критический потенциал Новой критической теории мы могли бы концептуализировать с помощью квазиматематической терминологии следующим образом: *критика + различие между числом, уровнем и качеством го-*

сударственных стратегий, открываемых космополитическим видением и закрываемых националистической перспективой»²⁴.

Кроме того, необходима нацеленность на «выявление противоречий дилемм невидимого, побочных эффектов современности, становящейся все более космополитической»²⁵, а также учет того обстоятельства, что «границы между внутренней и внешней политикой размываются». Важно также исходить из «несравнимости социальных неравенств между нациями-государствами», так как «национальные нормы равенства исключают глобальное неравенство ... Все больше и больше механизмов включения и исключения более не соответствуют классификации неравенств, основанных на классах и группах населения, чьи границы совпадают с границами государства»²⁶.

Говоря предметнее, чтобы быть успешным и эффективным антитеррористический дискурс

должен отражать специфику транснационального глобального экстремизма, в нем должно присутствовать понимание специфики террора XXI в., его отличий от того, с чем имели дело индустриальные общества. Вполне возможно, что список этих условий должен быть более объемным. Но соблюдение перечисленного здесь минимума, как представляется, необходимо, чтобы антитеррористический дискурс не распадался на фрагменты, оставался достаточно целостным, способным противостоять идеологиям, оправдывающим террор.

Dolgiy V.I. Antiterrorist Discourse as a Function of the Character of Society.

Summary: *The subject of the article is the retrospective analyses of the preconditions due to which the antiterrorist discourse develops and functions in realities of social dynamics. It is indicated the significance of the discursive approach in the practice of the terrorism researches.*

Ключевые слова

Дискурс, национальный терроризм, модерн, радикальный модерн, транснациональный глобальный терроризм.

Keywords

Discourse, national terrorism, modern, radical modern, transnational global terrorism.

Примечания

1. См.: Фуко М. Археология знания. СПб, 2004. С. 61–79.
2. Документ ООН А/44/456.
3. Единство в борьбе с терроризмом: рекомендации по глобальной контртеррористической стратегии. Документ ООН А/60/825.
4. Там же.
5. Beck, U. Cosmopolitan Version. Cambridge: Polity Press, 2007.
6. Yoroms, G. Defining and Mapping Threats of Terrorism in Africa // Institute of Security Studies, November 2009. P. 3.
7. Мартынов Д.Е. К рассмотрению семантической эволюции понятия «утопия» (XVI–XIX вв.) Вопросы философии. 2009. №5. С. 162.
8. Витюк В., Данилевич И. Терроризм как политический феномен и как теоретическая проблема // Терроризм в современном мире: истоки, сущность, направления и угрозы. М., 2003. С. 11–12.
9. Терроризм: борьба и проблемы противодействия // Под ред. проф. В.Я. Кикотя, проф. Н.Д. Эриашвили. М., ЮНИТИ–ДАНА. Закон и право, 2004. С. 83.
10. Камю А. Бунтующий человек. М., Политиздат, 1990. С. 202.
11. Дробижева Л.М., Паин Э.А. О социальных предпосылках терроризма // Терроризм в современном мире: истоки, сущность, направления и угрозы. М.: Институт социологии РАН, 2003. С. 41.
12. Плутарх. Избранные жизнеописания. В двух томах. Том II. Пер. с древнегр. / Состав. и прим. М. Томашевской. М.: Правда, 1990. С. 71.
13. Организация Объединенных Наций и борьба с международным терроризмом. Сборник документов. Издание Совета Федерации РФ. С. 54.
14. Бауман З. Индивидуализированное общество. М., Логос, 2002. С. 179.
15. Мангейм К. Идеология и утопия // Диагноз нашего времени. М., Юрист, 1995. С. 163.
16. Мангейм К. Идеология и утопия. С. 190.
17. Мангейм К. Идеология и утопия. С. 193.
18. Мангейм К. Идеология и утопия С. 200.
19. Alexander, Jeffry C. The Meaning of Social Life. A Cultural Sociology. Oxford: Oxford University Press. 2003. P. 7.
20. Alexander, Jeffry C. The Meaning of Social Life. A Cultural Sociology. P. 115.
21. Beck, U. Cosmopolitan Vision. Cambridge: Polity Press, 2007. P. 28.
22. Beck, U. Cosmopolitan Vision. P. 7.
23. Кравченко С.А. У. Бек. Социологическое воображение, адекватное рефлексивному модерну // Социс. 2011. № 8. С. 26.
24. Beck, U. Power in Global Age. Cambridge: Polity Press, 2007. P. 251.
25. Beck, U. Power in Global Age. Cambridge: Polity Press, 2007. P. 33.
26. Beck, U. Power in Global Age. P. 31.